



Вяч. ИВАНОВ

Мимо жизни

I

Д. С. Мережковский в глазах огромного большинства своих современников — писатель уважаемый и именитый, многоученый и многоопытный, очень умный и очень чуждый всем. Он был первым из обособившихся в интеллигенции, кто восхотел «опроститься» до типического, исконного, истого русского «интеллигента», — как встарь интеллигенты искали «опроститься» до «народа». Русский характер, как известно, тяготеет культурно-общественным обособлением и склонен спастись от него «опрощением», причем опростившиеся с удивлением узнают на опыте, что среда, казавшаяся им простою, являет в действительности непредвиденную сложность и требует от новопришедшего сложности величайшей, особенно же — верности самому себе. Как некогда опростившиеся интеллигенты не находили народа, так ныне Мережковский не находит интеллигенции; последней же кажется, что она потеряла его. Он легко исступляется, но его считают холодным. Он ежечасно учительствует — внятно, раздельно, весьма наглядно, порой до обидности просто и ясно, подтверждая свои уроки ссылками на канонические писания, жития и предания подлинной интеллигенции, — но его не слышат и не понимают. Мало кто знает, о чем живет и ревнует Мережковский. Вспоминаются его давние мистические идеологии, его «третий завет». Но усилия всей (и уже долгой) последней поры его проповедничества о христианской общественности кажутся бесплодными: ничего не породили они в общественной жизни, ничего не зачали и в общественной мысли. Реальный смысл громогласного и настойчивого призыва так и пребывает безнадежно темным.

Между тем элементы этой проповеди сами по себе вполне удобопонятны. Больше того: если бы Мережковский обращался пря-

мо к народу, а не к тому кругу, который он именуется «интеллигенцией», разумея под нею наших крайних левых, душу коих ему страстно хотелось бы обручить с религией, — он был бы, во всяком случае, понят, хотя последовала бы за ним лишь незначительная горсть одинаково настроенных в народ. «Интеллигенции» же до такой «религии» мало дела: она или одушевлена собственным довлеющим для ее задач энтузиазмом и дорожит цельностью как своей тактики, так и своего стиля, — или же ищет просто религии, самой по себе, беспримесной, безусловной, безприкладной, как теоретическая истина. Ищущему нужно сначала обрести самую истину: он уже сам потом усмотрит, как пронизать ею жизнь. Дары Мережковского кажутся одним — непрощенными и, быть может, сомнительными, как дары Данаев, другим — преждевременными и наперед обязывающими, как путеводитель по святым местам для человека, намеревающегося пойти странником куда глаза глядят.

Неудивительно, что Мережковский не находит иной аудитории, кроме случайной и забывчивой. Проповедь, незаметно для проповедника, обращается в признание о собственных исканиях и, следовательно, блужданиях. Он ежечасно вынужден от чего-то отречься, что-то прежнее исправлять, и торжественно провозглашать вместо «нового слова» лишь свое присоединение к тому, что двигало жизнь задолго до него. Поучения Мережковского — непрестанная Каносса его собственного «богоискательства» перед тем, что он чтит, как «религиозную правду безбожной интеллигенции». От положительного смысла поучений не остается ничего, кроме трюизма, что есть и безбожники отвлеченной мысли, живущие, однако, по-божьи, и что с таковыми и верующему похвально сообща творить добрые дела. Но острее тезиса, который нам обещали доказать, так и не проникает в души, за свою неубедительностью, равно явной для верующих и неверующих: что дух Евангелия, усвояемый личностью и обществом, находит свое ближайшее и непременно проявление в действенном и последовательном политическом радикализме.

Для людей, знающих и любящих Мережковского, его религиозно-публицистическое подвижничество — волнующая и грустная загадка. Великая заслуга его — неустанное исповедание веры. Заслуга и громкий клич о том, что вера христианская как бы двуипостасна: одно лицо ее — внутренний опыт, другое лицо — жизненное действие. Нет действия в духе любви Христовой, — нет и подлинной веры; есть таковое, — значит, есть в человеке и почва для веры, а может быть — и ее семя. Из этих неопровержимых положений выводятся поспешные заключения:

русская «общественность», проникнутая столь часто жертвенным пафосом, увенчанная подвигами самоотвержения, есть действие христианской религиозности; вера, не проявленная в освободительном политическом действии, — ложная вера. Логические ошибки этого построения бросаются в глаза; разъяснять их — излишний труд.

II

Проповедуя веру и находя в то же время, что старая вера бездейственна, Мережковский, очевидно, борется за веру новую и действенную; новое откровение должно, очевидно, воплотиться в новом действии. Но если именно действия и не оказывается ни на практике, ни в самой доктрине, вся новизна которой в том, что старому действию навязывается чужеродный ему мотив, — не обязывают ли нас основоположения самого вероучителя к выводу, что его откровение — не откровение и вера его — только жажда веры? Но Мережковский непрестанно исповедует свою веру. «And Brutus is an honourable man» *. Я свидетельствую, что не имею ни тени сомнения в правдивости этого исповедания. В чем же тут дело? В чем существо этой загадки, мучительной, как я сказал, для людей, любящих Мережковского? Не следует ли предположить, что в самом акте веры совершилась у него (быть может, бессознательно) какая-то роковая подмена или измена? Быть может, сам он не стал бы отрицать, что какой-то внутренний уклон воли, какое-то глубокое нарушение было им допущено как единственный представившийся ему путь следования Христу. Служение через грех, послушание через ослушание — так нужно было бы означить это антиномическое событие его внутреннего опыта. Я не буду говорить о такой установке религиозного сознания, религиозной совести по существу; но ясно одно, — что такого рода антиномические решения могут притязать на оправдание лишь в том случае, когда они непосредственно осуществляются в трагическом действии; обращаясь в принципиальный призыв, они представляются искажением и подменой. Религиозный императив должен быть категорическим, а не антиномическим по форме; трагедию (сущность которой есть антиномическое действие) можно переживать, но запрещено проповедовать.

* И Брут ведь благородный человек (англ.).

Есть, правда, единственное исключение из этого общего логического и нравственного закона: это исключение само христианство. На то оно и безусловно иррационально, антиномично и, поистине, «эллинам безумие». Для него трагическое есть норма. Но лишь для него одного, в его чистой, беспримесной сущности, в его глубочайшем пафосе, сгорающем в переживании единственного Имени, в котором вся истина, вся свобода, весь путь. Но в этой трагической и антиномической сущности христианства дана и его несоизмеримость с каким бы то ни было другим именем или путем, с какою бы то ни было другою правдою, другою свободой. Лишь только к чистой христианской идее, с миром несоизмеримой, но обращенной острием к миру и долженствующей восторжествовать на земле, примешивается что-либо, ей чуждое, — христианство, перестав быть собою самим, перестает быть и трагическим. Сделка с природным порядком жизни дает «христианское» обывательство, с идеею государства — империю Константина Великого или теократию пап. Сделало ли пуританство английскую революцию религиозным действием?.. Поскольку Мережковский действительно христианин, он не имеет права свое личное, случайное и неизбежно временное сопутничество в деле общественном возводить в принципе пути; но он это делает, — и вот, сами спутники его ему не верят.

III

«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Я верю в истинность этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и, если нужно, то за них и пострадать. Такова моя вера».

Выписав этот ответ Желябова на предложенный ему председателем суда в 1881 году вопрос о вероисповедании, Мережковский продолжает:

«Над этими словами никто не задумался. А между тем они не на ветер сказаны. Говоривший заплатил за них жизнью и ведь уж, конечно, знал, что говорит и что делает: знал, какой соблазн в имени Христа и не отрекся от него, не испугался того, что так пугает нас — общего места: религия есть реакция. Захотел соединить революцию с религией. Да, никто над этим не задумался. А, казалось бы, стоило...» *

* Мережковский Д. С. Было и будет. С. 200.

Задумываюсь и вижу, что Желябов излагает свою веру после своего действия, самое же действие отнюдь не ставит под знак религиозного исповедания. Последнего, впрочем, — строго говоря, — в словах его вовсе и не содержится, а есть в них лишь исповедание нравственного закона, который для говорящего тождествен с тем, что он почитает существенным и признает за истину в учении Христовом. Как бы то ни было, он слишком чувствует достоинство и ответственность каждого знамени и имени, чтобы не понимать, что Имя Христа не терпит соединения ни с каким другим лозунгом или именем, кроме личного имени предающегося Христу человека. Как кощунственно сказать: «Христос, ergo реакция», — так же кощунственно сказать: «Христос, ergo революция». Нельзя идти дальше формулы: «Христос — следовательно, подвиг любви». Каков будет этот личный подвиг, о том душа втайне исповедуется Христу. Только в ответ на приглашение высказаться о вере счел Желябов нужным разоблачить внутренний, религиозный голос своей души и тогда объявил всенародно о том, как преломился в его личной душе луч христианского внутреннего опыта. Его дело влилось в общее под импульсом религиозным: вот все, о чем он автобиографически свидетельствует. Его слова обнаруживают столь ясное сознание того, что религия дает иной разрез жизни, чем все формы общественности (формы, заметьте, а не личные дела, из коих слагается общественное дело), что ему, конечно, и в голову не приходило в эти последние свои дни «пугаться общего места, будто религия есть реакция».

А вот Мережковский именно тут не то, чтобы прямо пуглив, а уж очень как-то суетлив, слишком старается от каких-то подозрений огородиться — даже как бы до предательства некоторых родных ему имен и ценностей. И все это, разумеется, ради Христа. Впрочем, и Имени Христа Катя (в новой пьесе Мережковского «Будет радость»), — девушка, несомненно пользовавшаяся духовным руководством автора, — обещает больше не произносить, чтобы и в этом не уподобляться какому-то церковническому черному воронью, долженствующему, без сомнения, символически подтвердить другой тезис автора — о неразрывной связи православия с реакцией. Что же до обещания Кати, то хочется в ответ ей с облегчением воскликнуть: «Наконец-то!»

Думается, что Мережковский о Имени Христа соблазнился. Мало ему было этого единого Имени; полюбил он еще и другое: «Революция», — и захотел соединить оба в одно. Но что такое революция? «Прерывность, внезапность, катастрофичность, не-

предвидимое», — отвечает Мережковский *. Но таковое не имеет и имени, не подлежит ипостазированию... «Прерывное, катастрофичное, внезапное, непредвидимое — в религии называется апокалипсисом, а в общественности революцией», — настаивает Мережковский. Прискорбнейший по последствиям случай логической ошибки, которой имя — *quaternio terminorum!*** Мережковский, несомненно, — апокалиптик, чающий всенародного мистического «движения воды», соборного действия, очистительного и воскресительного обновления, крещения Руси Духом Святым и огнем. Что общего между этим чаянием и историческим началом «революции», понятой как *revolution en permanence****, как непрерывное действие скрытой и лишь временами вулканически заявляющей о себе энергии, истоком которой служит французская великая революция?

Постоянная работа этой энергии и есть «революция», как имя силы, как лозунг, как знамя. Все же прерывное, непредвидимое, апокалиптическое смешивается любителями и влюбленными мистиками с великим демоном, непрерывно действующим в новой Европе, лишь по детскому недоразумению, смешному для жрецов этого демона. Но христианство есть также *revolution en permanence*, непрерывающаяся катакомбная работа, и так же может она заявлять о себе вулканическими общественными движениями. Но под иным знаком совершается христианское перестройство ненавидимого «мира» изнутри, и двум господам вместе служить нельзя.

IV

Да, Мережковский — мучительная для бывших его друзей загадка. Как явно в нем напряженное стремление схватить самое жизненное в жизни, самое сердцевину жизни, как явно его желание пожертвовать всем (например, искусством — слепая, чисто леонтьевская или, по уподоблению его самого, «Агамемнонова»****, но уже отнюдь не Авраамова, жертва!), всем — ради единого на потребу, — и как явно в то же время, что это жизненное ему не дается, что он идет мимо жизни, что его слово ничего

* Было и будет. С. 58 и 66.

** учетверение (ошибка, являющаяся следствием двусмысленного употребления термина) (*лат.*).

*** перманентная революция (*фр.*).

**** Было и будет. С. 148 и 322.

не изменяет в существующих соотношениях общественных и духовных сил, что эта река, обещавшая некогда подводными струями пролиться по жаждающим нашим пажитям и торжественно втечь в некое светлое озеро-море, из волн которого звучат звоны Града, впадает после многих излучин скудным притоком в пообмелевшую реку нашего старого радикального народничества. По крайней мере, таков итог, всенародно и общедоступно подведенный Мережковским своим религиозно-общественным исканиям в новой его пьесе «Будет радость».

Радости от пьесы я не испытал и вокруг себя не видел; недоумение же об источнике и причине этой радости слышал отовсюду. Но так как сам верую, что радость будет, то радовался самому прозвучавшему слову, — быть может, вещему, — хотя и отнюдь не связанному с содержанием глубоко унылой и нудной, хотя умело и — если простить изобилие рассуждений и книжных цитат — искусно скомпанованной драмы, музыкально действующей на душу поэтическими чарами Добужинского и подошедшей, как по мерке, к стилю Художественного театра.

Да и в самом деле, как не загрустить, при виде внутреннего банкротства нашего богоискательства, — того, разумеется, типа, который представлен Катей, — в лице этой чистой и самоотверженной русской девушки, любящей, но от внутреннего надлома уже настолько неспособной к человеческой любви, что она, рыдая и крестя возлюбленного, отпускает его на заведомую и неизбежную гибель? И все эти муки принимает Катя для того, чтобы влиться ручейком в неширокую, но судоходную реку деятельной общественности, ознаменованной, к вящему огорчению приунывшего зрителя, престарелым земским деятелем, благороднейшим и милейшим, но, судя по его быстро наступающей дряхлости и непробужденной старозаветности его умственного склада, — лишь «остальным из стаи славной». У слияния Катина ручейка с рекой общественности воздвигнут автором столб с надписью, изъясняющей принцип объединения между богоискательством и старым народничеством: «чудо у нас с вами одно», — говорит Катя... Это я и называю внутренним банкротством. Ибо, если бы воцарилась в России всякая общественная правда и все обездоленные достигли предписанной ими самими меры благополучия, а дух бы угас, и отняты были у нас внутренние и тайные святыни наши с их животворящими силами, то такое превращение не было бы, в глазах верующего, благодатным чудом Божиим, — из чего следует, что брататься и единиться на чуде без Имени нельзя.

Вся же пьеса, протекающая мимо жизни, в области схематических контрверз, наполовину смытых уже давно и постоянно

смываемых притоком новых энергий, новых личных и групповых самоопределений и, наконец, мировых, все сдвигающих со старого места событий, — кажется запоздалым памфлетом против провозвестника наших величайших и отдаленнейших надежд — Достоевского. Суждение о нем Мережковского таково: «В Достоевском воплотилась вечная, метафизическая сила русской реакции, сила сопротивления старого порядка новому. Не сломив этой силы, не преодолев Достоевского и достоевщины, нельзя идти к будущему. Но, чтобы победить врага, надо встретиться с ним на той почве, на которой он стоит, а почва Достоевского религиозная» *. Религиозная почва Мережковского, во всяком случае, расступается под ним и поглощает его, как трясина; и трудно ему при этих условиях вступать в единоборство с великаном, стоящим на камне. Но возможно другое объединение почвы: можно плясать вокруг стоящего гримасничающей по земле тенью. Впрочем, Федя из новой пьесы, восковая кукла, слепленная из частей Ивана Карамазова, Ставрогина, Кириллова и Свидригайлова, скорее предназначена к пропаганде одного из важнейших учений Достоевского — о внутреннем распаде уединившейся личности. Другое дело — изображение православия, в котором Достоевский знал движение Духа жива. Старец, сменивший в пьесе Зосиму, приказывает ученику красть чужие письма, а ученик старца, Гриша, отличный от Алеши уже тем, что не из монастыря уходит в мир, а из мира в монастырь, — жалкий и мрачный идиот. А мы, прельщенные «метафизиком русской реакции», чуть не целых сорок лет затаенно надеялись, что не напрасну юный питомец Зосимы вышел в мир из стен благословенной обители. Впрочем, дух Алеши в миру творит свое дело втайне; когда он раскроется, — неложная «будет радость». А про пугала пьесы скажем: страшен сон, да милостив Бог.



* Было и будет. С. 282.